

Письма о любви и о войне

Ирина Машевская — молодой немолодой автор. Книгу "Неотосланные письма", опубликованную в издательстве "Друк", она написала давно, лет тридцать назад... Попытки опубликовать в 70-е годы свои записи и дневники, как говорится, не увенчались.

Автора обвинили в "непатриотических взглядах" и текст назвали "идеологически невыдержанным"... Она писала правду. Суровую и жестокою. О том, что видела, чему была свидетелем. И чего была участником. Писала о времени и о себе. Не только о любви, но и о войне, которая вращалась в ее жизнь и жизнь страны.

У Ирины Машевской драматическая судьба. Воспитанница детдома, она помнит, как в 37 году к ним поступила большая партия детей репрессированных. Там она познакомилась с немецкой девочкой и выучила немецкий язык. Позже это очень пригодилось. Потом она нашла свою мать... Она имела неосторожность написать в своей книге о том, что "немцы — тоже люди". Этого ей не простили. Несколькими годами позже она была "под подозрением".

...Скитания беженки, страшные годы оккупации в родном Казатине, немцы на дорогах и в доме, тревожное ожидание угона в Германию или смерти... Обо всем этом — в 17 неотосланных письмах к любимому — она рассказала просто и безыскусно, подчас с огромной художественной силой и бесстрашной искренностью. Исповедальная и психологически достоверная проза.

Ирина Машевская не собиралась писать художественное произведение. Но оно получилось. Дневниковые записи и письма превратились в стройное повествование...

Суровая правда войны и теперь обжигает читателя.

Сейчас Ирина Болеславовна Машевская, в прошлом учительница немецкого и английского языков, на пенсии, живет в Одессе.

Мы публикуем фрагмент из этой книги, которая все же вышла тиражом в сто экземпляров...

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ.

Ирина МАШЕВСКАЯ

Неотосланные письма

...Деваться было некуда, ночь пришлось коротать в одной постели — в хате не было ни одного свободного уголка, если бы даже кто из нас пожелал спать отдельно, сидя или даже стоя.

Лежали рядом, но между нами оставалась "нейтральная зона". Я жалась к стене, ты — к краю кровати, рискуя свалиться на спящих солдат. Мы очень устали. Чтобы совершить пеший поход обратно в Казатин, тебе надо было отдохнуть.

...Пробуждаясь ночью от дремоты и глядя широко открытыми глазами в темноту, я слушала неспокойный храп солдат, сонные стоны и бормотание казатинских беженцев. Ты же лежал тихо, неподвижно.

По твоему дыханию, по биению сердца я определяла, что ты не спишь. Хотелось протянуть руку, притронуться к тебе, но я боялась нарушить твой покой. Знала, ты чувствуешь то же, но ты сдержан, ты уминая.

Что-то ползало по липкому потному телу, кусало. Я сунула руку под платье, чтобы почесать зудящее место, и под пальцами оказалось крупное упругое насекомое. "Вши!" — захлестнула брезгливость.

— Алеша, вши грызут. Какой ужас! — прошептала я.

— Да, вши. Они не дают спать. А мы ведь так устали.

— Что делать?

— Терпеть. Нельзя будоражить спящих.

— Бедные, они устали.

— Да. Вот у меня платок, вшей снимай с себя и клади сюда, в платок, будем их давить.

Не помню, пришло ли уснуть. Помню только крупных жирных вшей, которых я снимала с себя, совала тебе в платок, а ты давил их.

Утром ты должен был вернуться в Казатин, а я — остаться здесь. Но я не хотела оставаться, я хотела домой, я хотела быть с тобой, ведь ты уходил на войну. Но сказать об этом я не решалась, только спросила:

— Ты пойдешь через Янковцы?

— Нет. Янковцы обойду.

Я твердо решила не оставлять здесь, уйти одной, после тебя. Я хотела, чтобы ты поскорее вернулся к своим родным, чтобы они успокоились и перестали меня ненавидеть. Я хотела вернуть тебя мне.

Раннее утро. Красное, яркое и лучшее солнце только выкатывалось из-за леса, который подступил прямо к хате. Белый обильный снег искрился и слепил глаза. Мороз румянил щеки, щипал за нос. Ты стояла на лыжах, которые дала тебе хозяйка. Это были лыжи ее мужа. Они должны были быстро домчать тебя до Казатина — в двенадцать часов дня ты должен был быть в военкомате. Ты стоял, укрепляя лыжи, держал палки и смотрел на меня — долго, пристально, нежно. Глаза твои выражали тоску, казалось, в них вот-вот появятся слезы. Тяжелая ночь нарисовала вокруг твоих глаз синие круги. Я тоже смотрела на тебя, и никакая сила не могла развести наши взгляды. Я мол-

ча твердила: "Не плакать, не плакать, не плакать!".

Палки из твоих рук выпали, руки потянулись ко мне, мы прильнули друг к другу. Потом ты резко оторвался от меня, нагнулся, поднял палки, порывисто сделал круг на лыжах и заскользил энергично, быстро по лесной дороге. Я медленно пошла по твоему следу, потом остановилась, вытерла слезы, посмотрела вокруг. Высокие сосны, убеленные сединами и мудростью, молча взирали на меня, им было безразлично мое горе. Потом я остановила взгляд на твоей спине — ты был уже далеко — и ты, как бы почувствовав это, резко затормозил, повернулся, посмотрел на меня, одиноко стоящую на лесной зимней дороге, и быстро заскользил ко мне.

Мы опять стояли друг против друга, смотрели друг другу в глаза и молчали. Мы не знали, что говорить, чем утешить друг друга. В такое жесткое время клятвы были не нужны. Они непрочны и ненадежны, и мы молчали. Однако в нашем молчании было все — и любовь, и ласка, и клятвы, и обещания.

— Счастливо, Алеша, иди. Тебе пора. Ты быстро поцеловал меня в лоб, повернулся и понесся по снежной дороге.

А я стояла. Не могла уйти, хотела видеть тебя, пока ты не скроешься за снежным горизонтом. Но ты опять оглянулся и опять повернул ко мне. Не добежав до меня, ты бросил лыжи и палки и подбежал ко мне. Мы больше не смотрели друг другу в глаза, мы просто вцепились друг в друга. Я чувствовала толчки твоего сердца — оно било тревогу.

— Галинка, родная, не могу уйти от тебя, не могу оставить тебя, — шептал ты прерывающимся голосом. — Чувствую, что если уйду, оставлю тебя одну, я потеряю тебя.

— Что ты, Алеша, что за слова такие?

— Не могу, не могу уйти от тебя.

— Иди не оглядываясь. И береги себя.

Ты вырвался из моих объятий, встал на лыжи и вихрем помчался вперед, ловко лавируя между деревьями, больше не оглядываясь.

Вскоре я тоскливо смотрела на пустую дорогу. Мною овладело тяжелое чувство безвозвратной потери. Вокруг все опустело. Несмотря на яркое утро, все вокруг казалось печальным и мрачным. Душа была в тисках. Тоска, тоска, тоска. Как я могла отпустить тебя, не сказав, что безумно люблю? Почему я молчала? Я должна, должна, должна еще раз увидеть тебя, прежде чем ты уйдешь на эту жестокою, страшную войну...

Ноги мои были легкими, шла я быстро, но дорога казалась длинной, время тянулось медленно. А мне так хотелось знать, где ты, кто с тобой рядом. При одной мысли, что ты уйдешь, и я больше тебя не увижу, мне становилось холодно.

Часов у меня не было, время определить я не могла. Но когда мы до-

стигли Казатина, солнце стояло над головой. Был полдень. С Красноармейской улицы я пошла той же дорогой, которой мы шли вчера.

Вскоре я была напротив вашего дома. Во дворе было много людей. Ты стоял с рюкзаком. Я поняла, тебя провожали. Когда вы направились к калитке, я спряталась за разбитый вагон на железной дороге. Выйдя из калитки, вы направились к переезду. Ты шел между матерью и отцом, сзади шел твой брат. Были еще и соседи, но они дошли только до переезда и вернулись, вы же пошли дальше, в город, к военкомату. Мне казалось, что я умираю, но окликнуть тебя, позвать на помощь не смела, не имела права. А как хотелось еще раз увидеть твои глаза, перемолвиться словом! Боже, как хотелось быть рядом, среди провожающих. Но я боялась твоих родных, их гнева, и, точно побитая собака, жалась к обочине, к канавам, к разбитым вагонам и плелась следом.

Вспоминаю все это много лет спустя, и хочется плакать от жалости к себе. Какая я тогда была жалкая и разбитая. Мне не дали права быть рядом с тобой.

Потом я сообразила, что меня могут заметить, и стыд овладел мною. Я отстала и пошла к военкомату другой дорогой. Добравшись туда, я затерялась в толпе и ждала счастливых минуты, когда можно будет подойти к тебе. Но такой минуты не наступило. Твои родные не отходили от тебя ни на шаг. Подойти при них я не осмелилась.

Новобранцев было много. Вскоре вас погрузили на грузовики и увезли. Я видела твоих родителей. Мать вытирала слезы, отец что-то говорил и говорил ей, ведя под руку. Теперь центром Вселенной для меня стали они, твои родители, твой дом. Только оттуда я могла получать вести о тебе.

Я пошла за твоими родителями. Я привела их к дому. Они об этом не знали, не догадывались. Но они думали о тебе, и это нас роднило.

Сажу и думаю — с чего начать это письмо? С тех пор как тебя увезли на военном грузовике на войну, все в моей жизни перевернулось, пошло криво и вкось. Хорошо помню, что с той минуты радость покинула меня.

Во дворе военкомата вас усадили на грузовики — много-много молодых мальчишек — и увезли. А я стояла и думала: "Сбылась ваша мечта. Вы пошли воевать. Вы — солдаты". Боже, как вы, мужчины, и помоложе, и постарше, рвались на фронт, к оружию, в драку. Знаю, вами владело благородное чувство, призывал долг.

Однако природа что-то в вас заложила, заправила вас какими-то особыми дрожжами. Вся история — это войны. А их делают мужчины. И идут на смерть. Молодые, здоровые, красивые, не успевающие еще посеять свое семя на земле, оставить всходы молодой поросли.

Помню, через две недели уже пла-

кали мамы. Уже пали Миша Матышко, Павлик Халагур. А они были моложе меня — добрые, хорошие мальчишки. Не верилось. Еще так недавно Павлуша поджидал меня у моста с кулком вишен или семечек, провожал домой, сидел у нас, и в его красивых черных глазах было столько надежды и любви. А я подтрунивала над ним и называла его "малыш".

Фронт отодвинулся от Казатина. Теперь он стоял где-то за Комсомольском. По вечерам мы иногда слышали буханье тяжелых орудий и гул земли. Но наша жизнь спокойной не стала. Над железнодорожным узлом, точно коршуны, кружились немецкие самолеты. Пути еще были полупусты. Их только начинали восстанавливать. Военных пока было немного.

Тревога не покидала нас, хотя подружилась с радостью: мы освобождены, мы со своими. Но война не окончена, она продолжает уносить жизни людей. Когда же конец, скоро ли?

Женщины по-прежнему одиноки, по-прежнему несут на своих хрупких плечах тяжесть забот, мужских и своих женских. А тут еще тревоги о близких, о тех, кто на фронте. Легко ли? По-прежнему сбегались, делились новостями, передавали одна другой добрые и злые слухи.

После твоего ухода прошла долгая серая и печальная неделя. Никаких ярких воспоминаний. Вот разве то, что ходила я с девочками смотреть место битвы на стадионе у школы. Это было страшное место, помню его и сейчас. Пошли мы трое: я, Люся и Нина.

Мороз немного сдал, и этот январский день был хмурый и зябким. Ветер вымел снег на возвышенностях и открытых местах.

Подошли к стадиону от железной дороги. Перешли пути, взобрались на горку — все как на ладони. Весь стадион изрыт небольшими окопчиками. На белом поле виднеются там, то здесь трупы в серых шинелях.

Отсюда наши наступали на школу, — объясняет уныло Нина. — Вова рассказывал, как это было. Они, гады, укрепились в подвале школы и били оттуда, — Нина показала в противоположный конец стадиона, туда, где среди высоких деревьев виднелись развалины. — Там удобная позиция, и они били на все четыре стороны. А здесь ведь сходятся дороги, наши не могли продвинуться.

Глаза мои не отрывались от сапог, торчащих из окопчика немного впереди нас. Сапоги. А где же человек? Точно притягиваемая магнитом, я медленно двинулась к сапогам. Еще не достигнув окопчика, я увидела человека. Это был совсем молодой солдат, почти ребенок. Он упал вниз головой, в окопчик, и так лежал, повернув голову набок и подогнув под себя руку. Русые волосы, точно седина, припорошены снегом. Шапка лежала тут же, в окопчике. Молодой солдат лежал тихо, неподвижно. Казалось, он спит и вот сейчас проснется, встанет и побежит догонять своих. Но он был мертв.

Это я понимала тем холодом, который вдруг волеял вонуть меня, и застывшими безмолвными мыслями в голове. Я стояла и, как одурманенная, смотрела на то, что было еще вчера живым, подвижным, полным надежд, любви и ненависти. Вчера это был человек. Он смеялся, радовался, грустил и пел. Он надеялся, что вернется домой к родным и близким. Теперь это труп, мертвец, остаток человека. Странно все на этом белом свете, непостижимо. Жизнь, жизнь, только жизнь — это все, а смерть — ничто, нуль, пустота. Вот упал он и не в состоянии даже шевельнуться, чтобы хоть чуть-чуть изменить то неловкое положение, в котором он застыл.

Я повернула голову и позвала девочку. Они покачали головами, потом вдруг громко зарыдали. Я опять повернула лицо к мертвому солдату и увидела маму. Она стояла рядом. Я не слышала, когда она подошла. Она нагнулась, взяла мертвого за ноги и вытащила из окопчика, потом повернула вверх лицом, поправила на нем шинель, с трудом сложила на груди закоченевшие руки, вытrepала снег из волос, очистила лицо и накрыла его

шапкой. Потом стала на одно колено и зашептала заукокойную молитву. В эту минуту я пожалела, что не умею молиться. Было очень тяжело, а слез не было, они застряли где-то внутри и давили свинцовой тяжестью.

Закончив молитву, мама встала и, немного помолчав, запричитала, обращаясь не то к мертвому, не то ко мне и подошедшим ближе девочкам.

— Сыночек ты дорогой, кровинка ты своей матери, почему лежишь здесь, почему не идешь к своей маме? Почему не обрадуешь ее, не припадешь к ее груди, не посмотришь ей в очи? Она ведь ждет тебя! Лет двадцать тому появился ты на ее руках маленьким живым комочком, беспомощный, невинный. Море любви и бесчисленные бессонные ночи сделали тебя сначала мальчиком, потом парнем. Она, твоя мама, хотела видеть тебя мужчиной, отцом, мужем, человеком. Разве для этого она лелеяла тебя, растила, любила, наполняла добром? Господи, да где же ты? Да что же ты делаешь? Взгляни на землю, взгляни хоть раз и яви свою волю. Прекрати бойню! Святая Мария, ты ведь тоже имела сына, ты тоже любила его...

Я не могла больше слушать, отошла к девочкам и наконец заплакала, тихо, не бурно.

Мама, в своей вечной серой куртке и платке, пошла дальше по полю. Она выискивала павших, укладывала их вверх лицом и накрывала глаза.

— Пойдем к школе. Там еще не то. Вова говорил, что там гора трупов. Их оттуда "катюша" выкуривала. За десять минут справилась.

Мы стороной обошли стадион, где хозяйничала мама, и прибились к разбитому каменному забору школы. Здесь действительно было "не то еще". На месте красивой массивной двухэтажной школы из красного кирпича мы увидели груду обломков, под которыми были погребены трупы немцев. И снаружи была груда мерзлых трупов. В зеленых и серо-голубых шинелях. У выхода из подвала. Здоровые, рослые. Теперь это только останки. Останки бравых солдат СС.

Я перешагнула развалившийся забор и медленно пошла к груде трупов. Меня притягивало какое-то нездоровое любопытство. Раньше никогда не видела мертвых близко, и так много. Вдруг я резко остановилась. Мною овладел страх. Рядом, опершись спиной на своих мертвых товарищей, припорошенных снегом, точно живой, стоял здоровый, рослый, красивый молодой немецкий солдат без шинели. Глаза его, остекленевшие, мутные, были открыты. Казалось, вот-вот он бросится на меня. Но он стоял спокойно, закоченевший, смотрел, но не видел.

Я вскрикнула, повернула назад, упала, подхватилась и побежала к девочкам. За забором я остановилась, отряхиваясь от снега и страха. Потом я опять глядела на трупы немцев, но уже издали. Не те ли это, что незадолго до прихода наших стояли на ПРБ? Наверное, здесь есть и те, что жили в нашем доме. И мальчишка Фолькер. Теперь они больше не кричат "Хайль! Яволи!". На лицах нет больше спеси и высокомерия, только печать смерти, неощадившей и высшей расы.

— И это тоже чьи-то дети. Их тоже где-то ждут матери, ждут и надеются, — это мама. Она опять рядом. Она опять вытирает слезы кончиком платка. — Бедные матери!

— Ах, мама, мама...

— Не надо, не надо. Мертвых не судят. Пойдемте домой. Не нужно вам такое смотреть. Можно заболеть. А вы молодые, у вас должны быть дети.

— Люди такое ежедневно видят на фронте.

— Девушкам такое смотреть нельзя. Вам может потом все это привидеться. Вы можете потерять сон. Идемте!

Да, мама была права. Я потеряла сон, мне снились кошмары. Мне казалось, что не стало уже на свете людей, что всех поглотила война, что земля скоро совсем опустеет. Мною владел страх за твою жизнь. А вестей нет. Где ты? Куда ушел? Жив ли? Никто не знает.